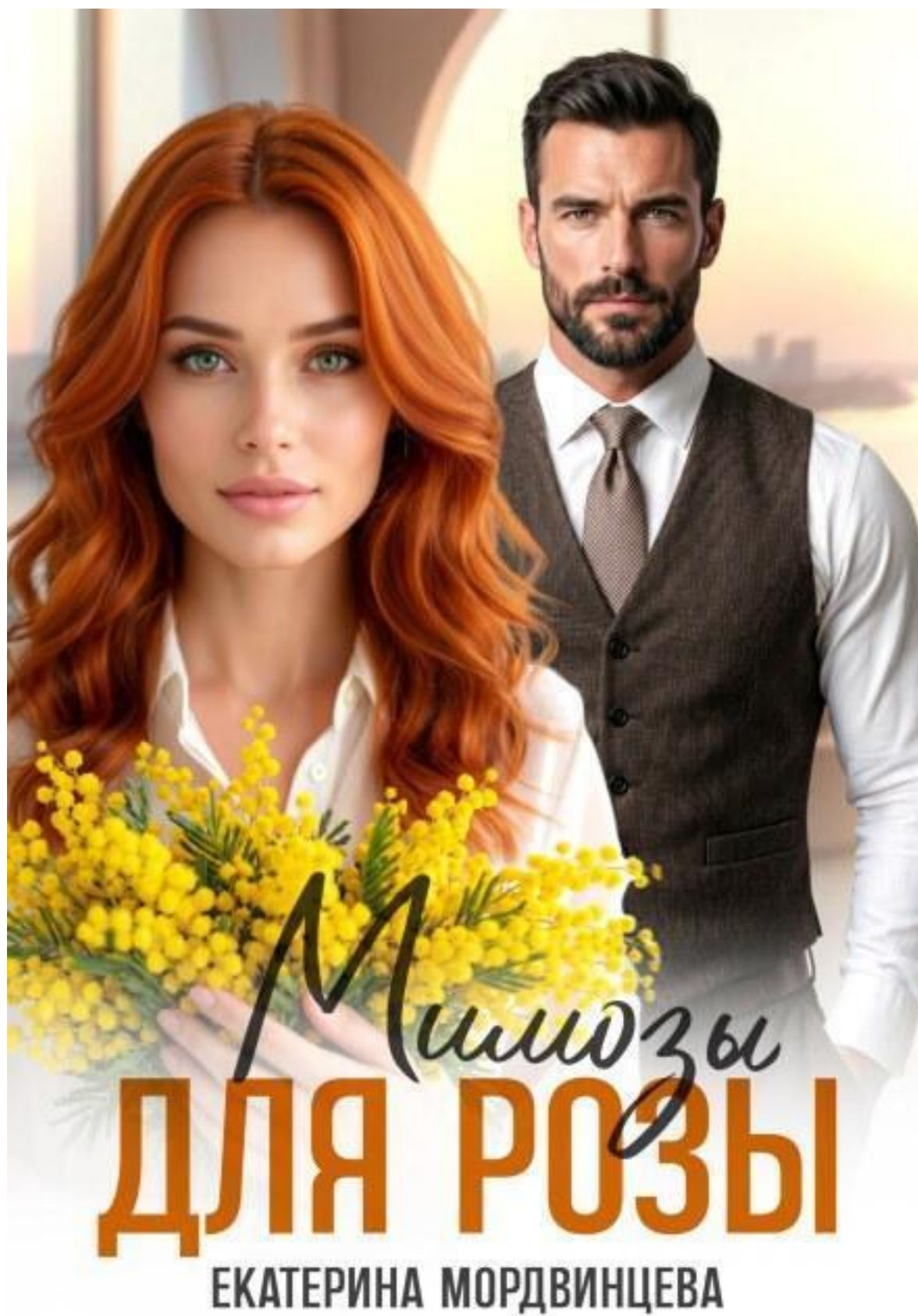




Екатерина Мордвинцева

Мимозы для Розы

«Литнет»

2026

Мордвинцева Е.

Мимозы для Розы / Е. Мордвинцева — «Литнет», 2026

«Нашелся». Одно слово на открытке, прикрепленной к скромному букету мимозы. Роза не знает, кто ее нашел и зачем. Она оставила прошлое в другом городе вместе с фамилией неверного мужа. Но кто-то упорно возвращает ей надежду. Кто-то, кто ждал семь лет. Кто-то, кто не имеет права ее любить. Потому что он — брат ее бывшего мужа.

© Мордвинцева Е., 2026

© Литнет, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1	15
Глава 2	23
Глава 3	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Пролог

Я просыпаюсь от того, что кто-то сверлит стену.

Этот звук — противный, настойчивый, вибрирующий — вгрызается в мое еще сонное сознание, и мне требуется целых десять секунд, чтобы понять: никто не сверлит стену. Это мой телефон. Он танцует на тумбочке, вибрируя корпусом по деревянной поверхности, и отказывается замолкать.

За окном еще темно. Я шурю на экран: 6:47. Неизвестный номер.

Шесть часов сорок семь минут утра. Восьмого марта.

Я сбрасываю звонок, переворачиваюсь на другой бок и натягиваю одеяло до самых бровей. В моем новом мире есть правило, которое я выучила за последний год: никто не звонит в шесть утра с хорошими новостями. Хорошие новости приходят в полдень, с солнцем и чашкой кофе. В шесть утра — только катастрофы, только долги, только «приезжай, срочно», только то, что рушит жизнь.

Моя жизнь уже рухнула. Я имею право доспать.

Телефон снова оживает. Та же вибрация, тот же номер.

Я смотрю на потолок. Съемная квартира в городе, где я никому не нужна. Трещина на потолке в форме изогнутой молнии. Пятно на обоях, похожее на карту материков. Запах чужого линолеума и газа от старой колонки. Восьмое марта.

Раньше этот день пах мимозой и корицей. Раньше я просыпалась от поцелуя в плечо и слышала: «С праздником, моя девочка». Раньше.

Теперь я просыпаюсь от звонка неизвестного номера и смотрю на трещину на потолке.

— Алло, — говорю я, потому что страх пропустить что-то важное все-таки перевешивает желание закинуть телефон в стену.

— Роза Владимировна? Вам заказ, я у подъезда.

Голос мужской, равнодушный, профессиональный. Курьер. Я выдыхаю — тот самый выдох, который копился в груди все шесть секунд, пока шли гудки. Не катастрофа. Не «приезжай». Не он.

— Я ничего не заказывала, — говорю я, и в голосе проскальзывает что-то похожее на разочарование. Или страх. Я уже плохо различаю эти два чувства.

— По адресу Ленина, 17, кв. 34? Роза Владимировна Ковалева?

Ленина, 17, квартира 34. Это я. Это мой временный адрес, который знают три человека: я, хозяйка квартиры тетя Зина и моя подруга Катя, которая живет в соседнем подъезде и каждое утро стучит в стенку, чтобы я не проспала на работу. Три человека. И вот теперь — курьер.

— Спускайтесь, — говорит курьер. — Замерзну тут с вашими цветами.

Цветы.

Сердце делает то, чего я не просила: оно пропускает удар. Целый удар. А потом навстречивается с такой силой, что у меня начинает пульсировать в висках.

— Я сейчас, — говорю я и кладу трубку.

Сажу на кровати несколько секунд. Одеяло сползло, и холодный воздух квартиры добирается до моих плеч, до ключиц, до того места на шее, где раньше всегда висел кулон, который я сняла и убрала в коробку с надписью «Бывшая жизнь» полтора года назад.

Цветы.

Восьмое марта.

Цветы.

Я понимаю, что должна догадаться, прежде чем спущусь. В моей голове есть только одно имя, которое могло бы отправить мне цветы на восьмое марта. Только одно. И оно выжжено в

моей памяти начертанием, которое я видела на странице загранпаспорта, на страховом полисе, на свидетельстве о браке, которое потом превратилось в свидетельство о разводе.

Игорь.

Мой бывший муж. Человек, который сказал мне «я люблю тебя» в последний раз не в день, когда я уходила, а за полгода до этого, просто по привычке, просто потому что так было принято говорить перед сном. Человек, который изменил мне с той девушкой из «Инстаграма» с накачанными губами и фотографиями завтраков на фоне Мальдив. Человек, который, когда я спросила «как долго?», пожал плечами и сказал: «Полгода, наверное. Не считал».

Я научилась не плакать по нему. Это было трудно. Сначала я плакала каждый день, потом через день, потом только по пятницам, когда пила вино и слушала грустную музыку, потом — только когда напивалась до чертиков, а потом перестала вообще. Перестала плакать, перестала чувствовать, перестала бояться увидеть его на улице, перестала проверять его страницу в соцсетях, перестала представлять, как он приходит к моей двери и говорит: «Я был дураком, прости».

Я перестала ждать. Я научилась жить без него. Я научилась жить так, чтобы восьмое марта было просто днем, когда в магазинах скидки на женские шампуни.

Я встаю. Ноги находят тапки. Я натягиваю халат — тот самый, клетчатый, купленный в спешке на распродаже, когда я поняла, что из всей одежды, которую я взяла из нашей общей квартиры, нет ничего теплого. В зеркале в прихожей я мельком вижу себя: спутанные волосы, бледное лицо, синяки под глазами. Мне тридцать два. Я выгляжу на все сорок.

Я спускаюсь по лестнице, потому что лифт в этом доме — это отдельная история, которая требует смелости, которой у меня в шесть утра нет.

Курьер стоит у подъезда, переминаясь с ноги на ногу. Он держит в руках что-то маленькое, почти незаметное. Я ожидала увидеть огромный букет — Игорь всегда дарил огромные букеты, от которых пахло теплицей и деньгами. Розы, лилии, орхидеи. Всегда много, всегда дорого, всегда с помпой.

Но это — маленький букет.

Он почти игрушечный. Веточка мимозы в крафтовой бумаге, перевязанная простой бечевкой. Желтые шарики, пушистые, нежные, пахнущие весной и детством. Мимоза — цветок, который дарит не мужчина женщине, а весна — всем подряд. Мимоза — это цветок из тех, что продают бабушки у метро, чтобы ты купил за сто рублей и улыбнулся. Мимоза — это не «я тебя хочу», это «я помню, что сегодня твой день».

Я беру букет. Пальцы дрожат.

— Распишитесь, — говорит курьер и протягивает планшет.

Я расписываюсь, не глядя. Курьер уходит. Я остаюсь стоять в подъезде, в клетчатом халате и тапках, с букетом мимозы в руках.

В воздухе пахнет весной. Я не знаю, как это объяснить, но мимоза пахнет именно весной — той самой, которой еще нет, но которая уже здесь. Этот запах — обещание. Он говорит: «Скоро будет тепло, скоро все зацветет, скоро ты выйдешь из дома без шапки и почувствуешь, что живешь».

Я не хочу чувствовать, что живу. Я хочу вернуться в квартиру, лечь под одеяло и сделать вид, что сегодня не восьмое марта, а, скажем, девятое или десятое. Обычный день. Ничего особенного.

Но я не ухожу. Я стою в подъезде и смотрю на букет.

Веточка мимозы. Всего одна. Кто отправляет одну веточку мимозы? Игорь отправил бы двести роз. Игорь всегда делал с размахом, даже когда извинялся. Особенно когда извинялся. Он приносил домой цветы на всю квартиру, говорил: «Прости, я был дураком», мы занимались любовью, и я думала, что это и есть счастье — прощать и быть прощенной. Я не знала тогда,

что прощать его придется до бесконечности. Я не знала, что его измена с той девушкой не была случайностью, а была системой.

Я отгибаю край крафтовой бумаги. Там, внутри, приклеен маленький конверт. Белый, плотный, без подписи.

Я открываю его. Внутри — открытка. Самая обычная, из тех, что продаются в любом киоске. На лицевой стороне — нарисованная мимоза и надпись «С 8 Марта!». Такие открытки покупают в спешке, когда вспоминают, что сегодня праздник, а ты забыл поздравить коллегу.

Я открываю открытку.

Там одно слово.

Одно единственное слово, написанное черной гелевой ручкой.

«Нашелся».

Буквы. Я смотрю на буквы. На то, как выведено «Н» — с легким наклоном вправо, с завитком на верхней перекладине. На «ш» — три палочки, соединенные внизу одной чертой, быстрые, уверенные. На «ё» — две точки, которые поставлены не как у всех — сверху вниз, а слева направо.

Я знаю этот почерк.

Я знаю его так же хорошо, как знаю свое отражение в зеркале. Я видела его на любовных записках, которые оставляли мне на подушке. Я видела его на списках покупок, которые висели на холодильнике. Я видела его на свидетельстве о браке — там, где он расписывался своей фамилией, которую потом носил и я. Я видела его на заявлении о разводе, когда он ставил свою подпись, даже не глядя на меня.

Это почерк Игоря.

Но это не может быть почерк Игоря.

Потому что Игорь пишет иначе. Я знаю, я только что себе это сказала, я только что перечислила все, что связывало меня с его почерком. Но я ошибаюсь. Или не ошибаюсь? Я смотрю на это «Н» — наклон вправо, завиток. Игорь пишет «Н» с наклоном влево. Игорь пишет «Н» без завитка, просто две палочки и перекладина. Я помню. Я сотни раз смотрела, как он пишет. Я помню, как он заполнял анкету в ЗАГСе, и я смотрела на его руки — красивые, сильные руки, и думала: «Это мои руки, этот человек — мой, и я буду смотреть на эти руки каждый день».

Он заполнял анкету. Он писал: «Игорь Алексеевич Ковалев». И я смотрела. Я запомнила каждую букву.

Это не его почерк.

Но я знаю этот почерк. Я где-то его видела. Не так часто, как почерк Игоря, но достаточно, чтобы он отпечатался в моей памяти. Где? В какой-то открытке? В какой-то записке?

Я стою в подъезде, в тапках, с мимозой в одной руке и открыткой в другой, и пытаюсь выудить из памяти то, что она упорно прячет.

«Нашелся».

Кто нашелся? Что нашлось? Я не теряла ничего. Я потеряла все, но я ничего не теряла. Я сама ушла, сама исчезла, сама не оставила адреса. Меня не искали. Меня никто не искал. Я проверила. Первые три месяца я каждую ночь смотрела на телефон, ждала, что он позвонит, напишет, придет. Ничего. Тишина. Он не искал меня. Он нашел ту девушку, и они, наверное, полетели на Мальдивы уже вместе.

Почему сейчас? Почему здесь?

Я поднимаюсь в квартиру. Ноги несут меня на автомате — ступенька, ступенька, ступенька. Третий этаж. Дверь с облупившейся краской. Ключ, который никак не хочет поворачиваться в замке. Я захожу внутрь, и первое, что я делаю — иду к окну.

На улице еще темно, но уже начинает светать. Серое небо над крышами пятиэтажек. Воробьи на проводах. Где-то вдалеке лает собака. Обычный город, обычное утро, обычное восьмое марта.

Я ставлю букет на подоконник. Мимоза смотрится чужеродно на фоне этого серого утра — яркое, желтое, пушистое пятно. Она пришла из другого мира, из мира, где есть праздники, подарки, любовь, надежда.

Я не хочу надежды.

Я беру телефон. Надо позвонить Кате. Катя — моя подруга, мой якорь, мой детектор реальности. Если я звоню Кате и рассказываю ей, что случилось, а она говорит, что это странно, значит, это действительно странно. А если она говорит, что я параноик, значит, я параноик.

Катя не берет трубку. Она спит. У нее выходной, она, наверное, вчера допоздна смотрела какой-нибудь сериал и сейчас спит без задних ног. Я сбрасываю звонок.

Остаюсь одна с мимозой и открыткой.

Я беру открытку и снова смотрю на слово. «Нашелся». Что это значит? Это угроза? Это напоминание? Это извинение?

Это не похоже на Игоря. Игорь не стал бы писать одно слово. Игорь написал бы: «Роза, я люблю тебя, прости меня, давай попробуем сначала». Или что-то в этом роде. Он не умел быть кратким. Он не умел быть загадочным. Он был простым, понятным, предсказуемым. Именно поэтому его измена стала для меня такой катастрофой — я не предсказала. Я думала, что знаю его насквозь, а оказалось, что не знаю ничего.

Но этот почерк. Я его знаю. Где я его видела?

Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить. Что-то связанное с цветами. Нет, не с цветами. С чем-то другим. С каким-то моментом, когда я смотрела на чью-то руку, выводящую буквы. Это был не Игорь. Это был кто-то другой. Кто-то, кто писал медленно, аккуратно, с каким-то особым вниманием к каждой черточке. Кто-то, кто выводил «Н» с завитком, а «ё» с точками слева направо.

Алексей.

Имя приходит внезапно, без спроса, и я распахиваю глаза, потому что это имя — из той жизни. Из бывшей жизни. Из жизни, которую я заперла в коробку с надписью «Бывшая жизнь» и выбросила на антресоль своей памяти.

Алексей Ковалев. Младший брат Игоря.

Я видела его почерк один раз. Один единственный раз. Это было на семейном ужине, кажется, на Новый год. Мы сидели за большим столом в доме свекрови, и Алексей написал на салфетке какой-то адрес для своей мамы. Я смотрела, как он пишет, потому что мне всегда было интересно наблюдать за людьми в быту. Его рука двигалась медленно, уверенно, и он вывел это самое «Н» — с завитком. Я подумала тогда: «У Игоря почерк резкий, мужской, а у Алексея — аккуратный, почти каллиграфический». И забыла. Зачем мне было помнить почерк брата мужа?

Зачем он мне сейчас?

Я смотрю на открытку. Нет. Это не может быть Алексей. Алексей — это... Алексей — это человек, который был на заднем плане всей моей семейной жизни. Он всегда был рядом, но как будто за стеклом. Он приходил на семейные ужины, улыбался, шутил, но никогда не был в центре внимания. Он был тихим. Он был незаметным. Он был «младшим братом», и все.

Мы никогда не были близки. Мы вообще почти не общались. Я знала, что он старше меня на два года, что он архитектор, что он не женат, что он живет отдельно от родителей. Вот и все. Он был для меня просто частью декораций — таких же, как дом свекрови, как семейный ужин по воскресеньям, как традиция сажать тюльпаны в саду каждую весну.

Он не мог отправить мне цветы. Он не знает моего адреса. Он не знает, где я. Никто не знает. Я специально никому не сказала. Я уехала ночью, пока Игорь был у той девушки. Я собрала чемодан, оставила ключи на тумбочке, написала записку: «Я ухожу. Не ищи меня». И ушла. Я сменила номер телефона, удалила все соцсети, переехала в другой город. Я стала невидимкой.

Как он меня нашел?

Я снова смотрю на открытку. «Нашелся». Это не «я тебя нашел». Это «нашелся» — что-то нашлось. Что-то, что было потеряно. Но что?

Я ставлю чайник. Надо выпить чаю. Надо успокоиться. Надо перестать искать смысл там, где его, возможно, нет. Может быть, это просто розыгрыш. Может быть, это Катя решила меня разыграть. Она знает, что я не люблю сюрпризов, и специально придумала эту таинственную открытку, чтобы я с ума сошла от любопытства. Это похоже на Катю. Она обожает эти свои психологические игры.

Я набираю Катин номер снова. Длинные гудки. Потом короткие — она сбросила.

— Катя, это я, — пишу я в мессенджер. — Ты мне цветы прислала?

Ответ приходит через минуту: «Какие цветы? Я сплю. Не пиши. Убью».

Не Катя.

Я смотрю на мимозу. Она стоит на подоконнике, и первые лучи солнца, наконец пробившиеся сквозь тучи, падают на ее пушистые шарики, превращая их в маленькие солнца. Это красиво. Я не хочу, чтобы было красиво. Я хочу, чтобы было обычно. Обычное восьмое марта, обычный день, обычная жизнь без сюрпризов.

Я беру букет, чтобы выбросить его в мусорное ведро. Но не выбрасываю. Стою с ним в руке и чувствую запах. Мимоза пахнет детством. Моя бабушка каждое восьмое марта покупала мимозу. Не розы, не тюльпаны, а именно мимозу — маленькую веточку, которую ставила в хрустальную вазу на подоконник. Она говорила: «Мимоза — это цветок надежды. Она цветет, когда снег еще не сошел, и напоминает нам, что весна обязательно придет».

Бабушка умерла, когда я вышла замуж за Игоря. Она не увидела моей свадьбы. Я тогда плакала не только от потери, но и от того, что она не познакомится с моим мужем. А теперь я думаю: может, оно и к лучшему. Бабушка не увидела бы моего развода. Она не увидела бы, как я стою в чужой квартире в чужом городе с веточкой мимозы и не знаю, что с ней делать.

Я ставлю букет обратно на подоконник. Не могу выбросить. Не потому, что это от кого-то, а потому, что это мимоза. Потому что это бабушка. Потому что сегодня восьмое марта, и даже если весь мир рухнул, мимоза имеет право стоять на подоконнике.

Я иду в душ. Горячая вода — единственное, что меня сейчас может успокоить. Я стою под струями, смотрю на белую плитку, на мыльницу в виде утки, которую оставила хозяйка квартиры, и пытаюсь не думать.

Не думать об открытке.

Не думать о почерке.

Не думать об Алексее.

Не думать об Игоре.

Не думать о том, что мой адрес больше не мой секрет.

Но мысли лезут, как тараканы, которых я травлю каждый месяц, но они все равно возвращаются. Кто? Как? Зачем?

Я выключаю воду, вытираюсь, надеваю чистое белье и джинсы. Сегодня я не пойду на работу — у меня выходной по случаю праздника. Я никуда не пойду. Я буду сидеть дома, смотреть глупые фильмы, есть шоколад и притворяться, что сегодня обычный день.

Телефон звонит снова. Я смотрю на экран — неизвестный номер. Другой. Не тот, что был у курьера.

Я не беру. Пусть звонят. Я не обязана отвечать на все звонки в мире.

Звонок смолкает, потом раздается уведомление о голосовом сообщении. Я смотрю на экран, и палец сам собой тянется кнопке «прослушать». Я не хочу. Но я нажимаю.

Тишина. Потом дыхание. Кто-то дышит в трубку — ровно, спокойно, как будто собирается что-то сказать, но не решается. Потом — голос. Мужской. Низкий, мягкий, чуть хриловатый.

— Роза. Прости, что так рано. Я не хотел тебя пугать. Просто... я искал тебя целый год. И сегодня... сегодня я хотел, чтобы ты знала: ты не одна. С праздником.

Короткие гудки.

Я сижу на краю кровати, сжимая телефон в руке, и слушаю, как стучит мое сердце. Слишком быстро. Слишком громко.

Я знаю этот голос.

Это не Игорь. У Игоря голос звонкий, уверенный, с нотками самодовольства, которые я раньше принимала за силу. Этот голос — другой. Тихий. Осторожный. Как будто человек боится сказать лишнее слово, чтобы не спугнуть.

Алексей.

Я права. Это Алексей.

Я закрываю глаза, и передо мной возникает его лицо. Я никогда не рассматривала его внимательно — не было нужды. Но сейчас, когда я пытаюсь вспомнить, я понимаю, что помню больше, чем мне казалось.

Светлые волосы, чуть длиннее, чем у Игоря. Серые глаза — не такие яркие, как у брата, а спокойные, глубокие. Он всегда смотрел немного мимо, как будто видел что-то, чего не видели другие. Улыбка редкая, но теплая. Он не был красавцем в том смысле, в каком красавцем был Игорь, но в нем было что-то... настоящее. Что-то, что заставляло чувствовать себя в безопасности.

Я чувствовала себя в безопасности рядом с ним? Нет. Я вообще не чувствовала его присутствия. Он был фоном. А теперь этот фон вдруг стал главным героем моей утренней драмы, и я не знаю, что с этим делать.

Почему он меня искал? Зачем? Что ему от меня нужно?

Мы никогда не были близки. Мы обменялись, наверное, парой сотен слов за все годы моего брака. «Здравствуйте». «Как дела?». «Передайте соль». «Спасибо, было вкусно». Ничего личного. Ничего, что давало бы ему право искать меня целый год.

Я переслушиваю сообщение. «Ты не одна». Что это значит? Конечно, я одна. Я одна уже полтора года. Я одна в чужом городе, в чужой квартире, с чужой жизнью, которую пытаюсь выстроить из обломков. Я одна, и я научилась с этим жить.

Зачем он пришел напоминать мне, что я не одна? Или он пришел сказать, что он — со мной? Что он хочет быть со мной?

Эта мысль пугает меня больше, чем угроза. Потому что если Алексей меня искал — не как родственник, не как друг, а как... как кто? Как мужчина? Если он искал меня не для того, чтобы передать привет от семьи, а для того, чтобы...

Я не могу додумать эту мысль. Она слишком странная. Слишком неправильная. Алексей — брат моего бывшего мужа. Это табу. Это запретная территория. Это даже не обсуждается.

Но он искал меня целый год. Он нашел мой адрес. Он прислал цветы. Он оставил сообщение.

Я снова слушаю сообщение. Третий раз.

«Просто... я искал тебя целый год».

В его голосе нет ничего, кроме правды. Он не пытается казаться сильным или уверенным. Он говорит тихо, почти шепотом, и я слышу в этом шепоте то, что он, возможно, не хотел показывать: уязвимость.

Алексей, который всегда был фоном, оказывается, имел ко мне какое-то отношение. Какое? Я не знаю. Я никогда не давала ему повода. Я была женой его брата. Я была частью семьи, но не его семьей. Я была для него просто Розой — девушкой, которая вышла замуж за Игоря.

Или не просто?

Я пытаюсь вспомнить какие-то моменты, которые могли бы что-то объяснить. Взгляды, которые я пропустила. Слова, которые имели второй смысл. Но я ничего не помню. Алексей был невидимкой. Он появлялся на семейных мероприятиях, но никогда не был в центре. Он всегда сидел в углу, улыбался, кивал, но не лез в разговоры. Я думала, ему просто скучно с нами. Я думала, он приходит, потому что мама просила.

Теперь я думаю иначе.

Может быть, он был там не потому, что мама просила. Может быть, он был там, чтобы видеть меня.

Эта мысль заставляет меня покраснеть. Я сижу на кровати в своей съемной квартире, и мои щеки горят, как у школьницы, получившей первую любовную записку. Мне тридцать два года. Я была замужем. Мне изменяли. Я прошла через развод, депрессию, переезд, смену работы. Я не должна краснеть из-за какого-то сообщения.

Но я краснею.

Я встаю, иду на кухню, наливаю себе чай. Руки дрожат, и я проливаю кипяток на столешницу. Вытираю, ругаюсь, делаю глоток. Чай обжигает рот, но я почти не чувствую.

Что мне делать? Позвонить ему? Написать? Игнорировать?

Игнорировать — самый безопасный вариант. Я уже год игнорирую все, что связано с той жизнью, и чувствую себя вполне сносно. Игнорировать — это мое новое супероружие. Я игнорирую звонки от неизвестных номеров, игнорирую воспоминания, игнорирую боль. Я стала профессионалом по игнорированию.

Но это сообщение я не могу игнорировать.

Потому что оно не о боли. Оно о чем-то другом. О чем-то, чего я не испытывала уже очень давно. О заботе? О внимании? О том, что кто-то думает обо мне не как о бывшей жене своего брата, а как о... как о Розе.

Я беру телефон и смотрю на сообщение. Можно нажать «ответить» и сказать: «Спасибо, но не надо». Или: «Как вы меня нашли?». Или просто: «Зачем?».

Я не нажимаю.

Я ставлю телефон на стол и иду к окну. Мимоза все так же стоит на подоконнике, и солнце теперь светит ярко, и ее желтые шарики горят, как маленькие фонарики. За окном просыпается город. Кто-то выгуливает собаку. Кто-то несет цветы — большие, яркие, в прозрачной пленке. Женщина в пуховике ведет за руку девочку в розовом пальто. У девочки в руках воздушный шарик в виде сердца.

Восьмое марта. Праздник весны и женщин. День, когда даже в самом сером городе появляются цветы.

Я смотрю на мимозу и думаю о том, что бабушка говорила про надежду. Я не хочу надежды. Надежда — это риск. Надежда — это открыть дверь и впустить того, кто может снова сделать больно. Я уже один раз открыла дверь — Игорю. Он вошел, и я думала, что это навсегда. А оказалось, что навсегда — это только до первой девушки с Мальдив.

Я не хочу открывать дверь снова.

Но мимоза пахнет весной. И я чувствую, как что-то внутри меня — что-то, что я считала умершим — начинает шевелиться. Как подснежник под снегом. Как почка на дереве, которое казалось засохшим.

Я не хочу надежды. Но надежда, кажется, пришла без приглашения.

Я снова беру телефон. На этот раз я не слушаю сообщение. Я смотрю на номер, с которого оно пришло. Неизвестный. Я могла бы сохранить его в контакты. Могла бы написать: «Спасибо за цветы». Могла бы спросить: «Зачем вы меня искали?».

Я сохраняю номер. Ввожу имя: «Алексей К».

И сразу удаляю. Потом восстанавливаю из недавно удаленных. Потом снова удаляю.

В конце концов я просто выключаю телефон и кладу его в ящик тумбочки. Я не буду отвечать. Я не буду звонить. Я буду жить своей жизнью, в которой нет места ни Игорю, ни его брату, ни мимозе, ни надежде.

Я иду на кухню, завтракаю. Бутерброд с сыром и чай. Я жую и смотрю в стену. В моей голове — тишина. Нарочитая, вымученная тишина, за которой скрывается шум, похожий на работу огромного вентилятора.

Я не буду думать об этом.

Я включаю телевизор. Там показывают какой-то старый фильм — кажется, «Служебный роман». Люди в советских костюмах говорят о плане и любви. Я смотрю, но не вижу. Перед глазами — открытка. Одно слово. «Нашелся».

Кто нашелся? Я нашлась? Или он нашелся? Или что-то третье?

Я выключаю телевизор. Не могу сосредоточиться.

Надо выйти. Надо прогуляться, проветрить голову, перестать сидеть в четырех стенах и накручивать себя. Я одеваюсь — джинсы, свитер, куртка, шапка. Я выхожу на улицу, и свежий воздух ударяет в лицо, отрезвляет, возвращает меня в реальность.

Город живет своей жизнью. Магазины открыты, у метро продают цветы, женщины с охапками тюльпанов и мимозы расходятся в разные стороны. Я иду по набережной, смотрю на воду. Море здесь серое, спокойное, зимнее. Чайки кричат над головой. Где-то играет музыка — кажется, из кафе на первом этаже.

Я сажусь на скамейку и смотрю на воду.

Волны набегают на берег, разбиваются о камни, отступают. Размеренно, бесконечно, успокаивающе. Я могла бы сидеть здесь часами, просто смотреть на море и ни о чем не думать.

Но я думаю.

Я думаю об Алексее.

Почему я никогда не замечала его? Почему он был для меня просто фоном? Может быть, потому что я смотрела только на Игоря? Игорь был ярким, громким, он занимал все пространство собой. Когда он входил в комнату, невозможно было смотреть на кого-то еще. Он был солнцем, вокруг которого вращались все планеты — я, его друзья, его родители. Даже его младший брат казался просто бледной тенью этого солнца.

Но тени не ищут людей годами. Тени не отправляют цветы на восьмое марта. Тени не оставляют сообщения с дрожью в голосе.

Что, если я все это время смотрела не туда? Что, если солнце было ложным, а настоящий свет — тот, тихий, спокойный, который не ослепляет, а согревает — стоял за спиной, и я просто не обернулась?

Я закрываю глаза и пытаюсь представить Алексея. Не того, который сидел в углу на семейных ужинах, а того, который мог бы быть рядом. Который мог бы смотреть на меня не как на жену брата, а как на женщину. Который мог бы...

Я не могу. У меня нет для этого картинки. В моей памяти Алексей всегда на расстоянии, всегда за пределами моего личного пространства. Я никогда не стояла с ним рядом так, чтобы чувствовать его дыхание. Я никогда не смотрела ему в глаза дольше двух секунд. Я никогда не слышала, как он смеется над чем-то, что сказала я.

Мы были чужими людьми, которых связала случайность родства.

Или нет?

Я вспоминаю один момент. Мне кажется, или он был? Мы сидели за столом на дне рождения свекрови. Я устала, я много говорила, много улыбалась, и мне захотелось выйти на воздух. Я вышла на балкон, и там уже был Алексей. Он стоял, опершись на перила, и смотрел на звезды. Я сказала: «О, извините, я не знала, что здесь кто-то есть». Он обернулся, посмотрел на меня — и в его взгляде было что-то... я не знаю, как это назвать. Что-то, что заставило меня замереть на секунду. Но потом он улыбнулся, сказал: «Ничего, я уже уйду», — и вышел.

Я осталась одна на балконе, смотрела на звезды и думала: «Какой странный взгляд». И забыла. Забыла до сегодняшнего утра.

А теперь я сижу на скамейке у моря, и этот взгляд всплывает в моей памяти с пугающей четкостью. В нем не было ничего от Игоря. Не было самоуверенности, не было «я тебя завоевываю». В нем была тихая, спокойная, какая-то очень личная теплота. Как будто он смотрел не на жену брата, а на что-то очень дорогое, очень желанное, очень далекое.

Я тогда подумала: «Наверное, ему просто грустно». И успокоилась.

Теперь я не успокоена.

Я достаю телефон из кармана. Я снова включаю его. На экране — сообщение от неизвестного номера. Голосовое. Я не переслушиваю. Я смотрю на кнопку «ответить».

Мой палец зависает над ней.

Что я скажу? «Спасибо за цветы, но, пожалуйста, не ищите меня больше»? Это было бы правильно. Это было бы безопасно. Это закрыло бы тему раз и навсегда.

Я не нажимаю.

Я убираю телефон и снова смотрю на море. Волны набегают и отступают. Чайки кричат. Где-то играет музыка.

Я думаю о том, что год назад, в это же утро, я просыпалась в этой же квартире, но по-другому. Я просыпалась с мыслью: «Я справилась. Я прожила год без него. Я выжила». Это была маленькая победа, и я праздновала ее в одиночестве, с чашкой кофе и кусочком торта из магазина.

Сегодня я проснулась от звонка курьера. Сегодня у меня на подоконнике стоит мимоза. Сегодня я получила сообщение от брата моего бывшего мужа, который искал меня целый год.

Мир, который я так тщательно строила заново, дал трещину. И в эту трещину просочился свет. Яркий, желтый, пушистый — как мимоза. Как надежда.

Я не хочу надежды.

Но я не могу заставить себя выбросить мимозу.

Я сижу на скамейке до тех пор, пока не начинаю мерзнуть. Солнце поднялось выше, но ветер с моря холодный, и он пробирается под куртку, под свитер, под кожу. Я встаю, иду обратно. По пути покупаю себе кофе в бумажном стаканчике и еще одну веточку мимозы — уже за свои деньги. Бабушка у метро продает, у нее их целая охапка, яркая, как маленькое солнце.

— Себе? — спрашивает бабушка, протягивая мне сдачу.

— Себе, — говорю я.

— Правильно, — кивает бабушка. — Себя тоже надо поздравлять. Сама себе цветы подарила — сама себя и уважаешь.

Я улыбаюсь. Впервые за сегодня.

Я возвращаюсь домой с двумя веточками мимозы — той, что прислали, и той, что купила сама. Я ставлю их в одну вазу, и они смотрятся как пара — две желтые пушистые ветки, переплетаясь, тянутся к солнцу.

Я смотрю на них и думаю о том, что сегодня восьмое марта. День, когда даже в самом сером городе появляются цветы. День, когда даже в самом закрытом сердце может появиться надежда.

Я не хочу надежды. Но она здесь.

Я достаю телефон, открываю сохраненный номер и пишу одно слово:

«Спасибо».

Отправляю.

И сразу же, не дав себе времени передумать, выключаю телефон и убираю его в ящик.

Я не буду ждать ответа. Я не буду проверять каждые пять минут. Я просто скажу «спасибо» и продолжу жить. Как жила. Одна. В своем маленьком мире, который я построила из обломков.

Но в вазе на подоконнике стоят две веточки мимозы. И одна из них — не от меня.

И я знаю, что за этой веточкой стоит человек, который искал меня целый год. Который нашел. Который, возможно, ждет ответа. Который, возможно, надеется.

Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что он ответит. Я не знаю, хочу ли я знать.

Но сегодня, в это утро восьмого марта, я позволяю себе одну маленькую слабость: я не выкидываю его цветы. Я не стираю его номер. Я говорю «спасибо».

И этого достаточно.

На сегодня.

Я смотрю на мимозу, и мне кажется, что она светится. Желтый, теплый, живой свет разливается по подоконнику, по стене, по всей моей маленькой съемной квартире. И я чувствую, как что-то оттаивает внутри. Что-то, что было заморожено полтора года.

Я не знаю, хорошо это или плохо. Я не знаю, куда меня приведет этот свет.

Но сегодня, в это восьмое марта, я просто сижу на подоконнике, обхватив колени руками, и смотрю на мимозу.

И мне кажется — или это только кажется? — что я слышу, как за окном поет весна.

Глава 1

Февраль в нашем городе — это испытание на прочность.

Не потому, что холодно. Холодно я люблю, холод заставляет укутываться в шарфы, пить горячий шоколад, чувствовать, как пар изо рта растворяется в воздухе. Холод — честный. Он не обещает тепла, не обманывает, не заставляет надеяться.

Февраль здесь — серый. Не белый, как в настоящей зиме, и не голубой, как в ранней весне. Он какой-то выцветший, словно кто-то взял акварель, смешал все краски, добавил воды и вылил на небо. Море в феврале тяжелое, свинцовое, оно не плещется, а дышит — медленно, глубоко, как спящий зверь. Чайки сидят на причалах, нахохлившись, и не кричат, а только изредка перекликаются, будто спрашивают друг у друга: «Ну когда уже?».

Я родилась в конце февраля. И каждый год, когда наступает мой день рождения, я чувствую себя частью этого ожидания — серого, тягучего, бесконечного. Весна где-то рядом, но не наступает. И ты сидишь и ждешь, хотя уже разучился ждать.

Моя мастерская называется «Роза и ветка». Я придумала это название, когда переехала сюда, в этот приморский город, год с небольшим назад. У меня не было денег, не было плана, не было ничего, кроме чемодана одежды, коробки инструментов для флористики и фамилии, которая больше мне не принадлежала. Ковалевой я быть перестала, вернула девичью — Ветрова. Роза Ветрова. Звучит как выдумка, как имя для героини дешевого романа. Но это я. Это моя новая жизнь.

Мастерская маленькая, на первом этаже пятиэтажки, с окнами на северную сторону. Солнца здесь почти не бывает, но это даже хорошо — цветы дольше стоят. Я снимаю это помещение у тети Зины, той самой, у которой снимаю квартиру в соседнем доме. Тетя Зина — полноватая женщина лет шестидесяти с вечно обиженным выражением лица, которое моментально сменяется улыбкой, когда речь заходит о деньгах. Она пустила меня в свое помещение по знакомству, взяла недорогую аренду и первое время приходила каждый день проверять, не сбежала ли я. Потом привыкла. Теперь заходит только по пятницам, приносит пирожки и рассказывает о своих кошках.

В мастерской пахнет зеленью, влажной землей, срезкой и еще чем-то неуловимым, что я называю «запахом жизни». Срезанные цветы — они ведь уже не живые, они уже на пути к увяданию, но в первые дни после срезки они пахнут так отчаянно, так щедро, как будто знают, что времени мало. Я люблю этот запах. Он честнее, чем запах живых цветов в горшках. Живые цветы могут притворяться, могут тянуться к солнцу и казаться вечными. Срезанные — нет. Они знают свой срок и отдают себя без остатка.

В моей работе есть что-то от некромантии, если подумать. Я беру то, что уже обречено, и создаю из этого красоту. Букет — это последняя вспышка жизни цветка, его прощальный поклон. И моя задача — сделать этот поклон красивым.

Иногда я думаю, что моя прошлая жизнь была таким же срезанным цветком. Я отцвела, завяла, меня выбросили. А потом я сама себя собрала в новый букет. И теперь стою в вазе, радую глаз, делаю вид, что все в порядке. Но знаю, что срок все равно придет.

Но об этом я стараюсь не думать.

Двадцать восьмое февраля. Мой день рождения.

Я просыпаюсь от того, что Катя стучит в стену. Три коротких, два длинных. Наш код: «Ты жива?».

Я стучу в ответ: два коротких. «Да, отстань».

Катя — моя подруга, соседка, спасительница и главный источник кофеина в моей жизни. Мы познакомились в первый же день моего приезда: я стояла на вокзале с чемоданом, расте-

рянная, злая, готовая разрыдаться, а она подошла и спросила: «Ты чья?». Я сказала: «Ничья». Она усмехнулась: «Бывает. Пойдем кофе пить».

С тех пор мы неразлучны. Катя работает бариста в кофейне на набережной, и у нее в крови эспрессо вместо плазмы. Она убеждена, что любую проблему можно решить чашкой хорошего кофе и откровенным разговором. С мужчинами она не связывается — говорит, что это слишком хлопотно и вообще «кофе надежнее». Она на пять лет старше меня, но выглядит моложе — худенькая, стриженная под мальчика, с вечно прищуренными глазами и быстрыми, нервными движениями. Катя не умеет сидеть на месте. Даже когда пьет кофе, она вертит чашку, постукивает пальцами по столу, покусывает губы. Я завидую ее энергии. Иногда мне кажется, что я вся состою из усталости, а она — из движения.

Я встаю с кровати, натягиваю джинсы, свитер, иду в ванную. В зеркале — лицо тридцатидвухлетней женщины, которая спит слишком мало, пьет слишком много кофе и до сих пор не научилась нормально красить ресницы. Я некрасивая. Я это знаю. Не то чтобы уродливая, но и не та, на кого оборачиваются на улице. Обычная. Русые волосы, серые глаза, нос с легкой горбинкой, тонкие губы. Если бы меня нужно было описать одним словом, я бы сказала: «никакая». Игорь говорил: «Ты моя скромница». А я думала, что это комплимент. Теперь я знаю, что это означало: «С тобой безопасно, ты никуда не денешься».

Я отворачиваюсь от зеркала. Сегодня мой день рождения, и я разрешаю себе не думать об Игоре.

Выхожу на кухню, ставлю чайник. Из окна видно море — серое, тяжелое, с белыми барашками на волнах. Ветер сегодня сильный, он гонит тучи с запада, и небо кажется свинцовым. Хороший день, чтобы родиться. По крайней мере, не нужно притворяться, что весна уже пришла.

Чайник закипает. Я завариваю чай, сажусь на подоконник, обхватив кружку руками. Тепло от чая проникает в ладони, поднимается по рукам, согревает грудь. Я закрываю глаза и думаю: «Мне тридцать два. Я одна. У меня есть мастерская, есть Катя, есть тетя Зина с ее пирожками. Этого достаточно».

Этого достаточно. Я повторяю это как мантру каждый день. Иногда я верю.

В мастерскую я прихожу к десяти. Зима — не сезон для флористики, заказов мало, но мне нужно быть здесь, перебирать цветы, поливать, обрезать, создавать что-то красивое из того, что есть. Это моя терапия. Когда мои руки заняты, голова замолкает.

Сегодня я открываю дверь, и первое, что вижу — коробка на пороге. Картонная, перевязанная синей ленточкой. Без подписи.

Я замираю. Сердце делает то, что не просили — ускоряется, сжимается, ухает вниз. Я ненавижу сюрпризы. Я ненавижу, когда кто-то оставляет мне вещи без предупреждения. Потому что в моем опыте хорошие сюрпризы заканчиваются, а плохие — нет.

Я оглядываюсь по сторонам. Улица пуста. Ветер гоняет по асфальту прошлогодние листья. Из соседней пекарни пахнет хлебом. Все как обычно. Только коробка на пороге — необычно.

Я поднимаю ее, вхожу в мастерскую, ставлю на прилавок. Ленточка легко развязывается. Я открываю крышку.

Внутри — цветы.

Пионы.

Розовые, нежные, с тяжелыми каплями воды на лепестках. Они пахнут так, как пахнет счастье в старых фильмах — сладко, густо, немного приторно. Пионы в феврале. Это дорого. Это невозможно. Это значит, что кто-то очень постарался.

В коробке лежит открытка. Я беру ее дрожащими руками. На ней — всего две строчки: «С днем рождения, Роза. Ты заслуживаешь красоту каждый день, а не только сегодня».

Почерк. Я смотрю на почерк.

Нет. Это не тот почерк. Не тот, который я видела на открытке 8 марта. Здесь буквы другие — печатные, аккуратные, без наклона. Как будто человек специально старался писать разборчиво, чтобы его нельзя было узнать.

Я верчу открытку в руках. Никаких подписей, никаких намеков. Только эти две строчки. Кто?

Вариантов немного. Катя? Катя дарит мне кофе и носки с единорогами, но не пионы в феврале. У Кати на пионы нет денег. Тетя Зина? Тетя Зина приносит пирожки. И она не стала бы тратить на цветы — она считает, что цветы это «деньги на ветер». Кто-то из клиентов? Но я ни с кем из клиентов не общаюсь настолько близко.

Остается один вариант. Тот, который я не хочу рассматривать.

Алексей.

После той открытки на 8 марта он не появлялся. Не писал, не звонил, не приходил. Я ответила «спасибо» и больше ничего. Он не настаивал. И я почти убедила себя, что это была случайность, что он просто хотел поздравить, что ничего за этим нет.

Но пионы в феврале — это не «просто поздравить». Это жест. Это заявка. Это «я помню, я здесь, я не ушел».

Я смотрю на пионы. Они прекрасны. Такие розовые, что почти светятся. Капли воды на лепестках дрожат, когда я двигаю коробку. Я провожу пальцем по лепестку — он нежный, прохладный, живой.

И я чувствую, как внутри меня что-то сжимается. Не от радости. От страха.

Потому что я знаю, что бывает, когда кто-то дарит тебе красивые цветы. Сначала цветы, потом улыбки, потом обещания, потом — «я был на корпоративе, задержался», потом — запах чужих духов на воротнике, потом — «ты мне не веришь?», потом — «полгода, наверное, не считал».

Я закрываю коробку. Я не буду на них смотреть. Я поставлю их в подставку, и пусть стоят там, пока не завянут. Я не буду искать отправителя. Я не буду гадать. Я не буду надеяться.

Потому что надежда — это самое опасное, что есть в мире. Надежда открывает двери. А я все двери заперла и ключи выбросила.

Рабочий день начинается с заказа от постоянной клиентки — женщины лет пятидесяти, которая каждую неделю покупает букет для своей матери. «Только не розы, мама не любит розы. Что-нибудь полевое, нежное». Я собираю композицию из гипсофилы, лаванды и белых хризантем. Руки работают автоматически — я знаю, какие цветы сочетаются, какой угол наклона создает нужный объем, как закрепить стебли, чтобы букет не развалился. Это знание в моих пальцах, в мышцах, в памяти тела. Я могу собирать букеты с закрытыми глазами.

И иногда я так и делаю — закрываю глаза и просто чувствую. Стебли — гладкие или шершавые, листья — мягкие или жесткие, цветы — тяжелые или легкие. В этом есть что-то медитативное. Я перестаю быть Розой, которая боится, Розой, которую предали, Розой, которая сбежала. Я становлюсь просто руками, которые создают красоту.

Но сегодня медитация не получается. Перед глазами — пионы. Розовые, нежные, невозможные в феврале. И открытка. «Ты заслуживаешь красоту каждый день».

Кто это сказал? Кто решил, что имеет право говорить мне, чего я заслуживаю?

Я отрезаю лишние стебли, заворачиваю букет в крафтовую бумагу, перевязываю бечевкой. Приходит клиентка, платит, уходит. Я остаюсь одна в мастерской.

Звоню Кате.

— С днем рождения, — говорит она вместо приветствия. — Я сейчас отпрошусь, через пятнадцать минут буду с кофе и тортом. Ты где, в мастерской?

— В мастерской. Кать, мне прислали цветы.

— О, — она замолкает на секунду. — От кого?

— Не знаю. Пионы. В феврале.

— Пионы? — в ее голосе появляется что-то новое, что-то, что я не могу определить. —

Это дорого.

— Я знаю.

— И ты не знаешь, от кого?

— Нет. Открытка без подписи. Почерк незнакомый.

Катя молчит дольше, чем нужно. Потом говорит:

— Роза, ты думаешь, это... ну, тот?

Мы не произносим его имя. Тот — это Игорь. Тот — это тот, кто разбил мою жизнь. Тот — это имя, которое я запретила произносить в своем присутствии.

— Не знаю, — говорю я. — Не похоже на него. Он дарил розы. Красные. Много. Чтобы все видели.

— Может, изменился?

— Люди не меняются.

— А ты изменилась.

Я молчу. Она права. Я изменилась. Я стала жестче, холоднее, осторожнее. Я научилась не верить словам, не доверять улыбкам, не принимать подарки. Я научилась быть одна. И это умение стоило мне дорого.

— Ладно, — говорит Катя. — Сейчас приду, разберемся. Не трогай эти пионы. Может, они с бомбой.

— С бомбой?

— Шучу. Или нет. Кофе с собой несильный?

— Как обычно.

— Будет тебе капучино с корицей. Жди.

Она отключается. Я смотрю на телефон и думаю о том, что Катя — единственный человек, который помнит, какой кофе я люблю. И это одновременно и приятно, и грустно. Потому что раньше таких людей было больше.

Катя приходит через двадцать минут, а не через пятнадцать, но я не злюсь — она приносит два огромных стакана капучино, коробку с тортом из своей кофейни и пакет, в котором подозрительно шуршит фольга.

— Это тебе, — она ставит пакет на прилавок. — Но сначала показывай цветы.

Я открываю коробку с пионами. Катя подходит, смотрит, свистит.

— Ничего себе. Это же «Сара Бернар». Розовый пион «Сара Бернар». Они в феврале по пять тысяч за ветку стоят.

— Откуда ты знаешь?

— У нас в кофейне на столы иногда ставят. Я у флористов спрашивала. Дорогущие, короче.

Она берет открытку, читает. Потом смотрит на меня.

— И ты говоришь, что не знаешь почерк?

— Не знаю.

— А на кого думаешь?

Я молчу. Катя смотрит на меня с тем выражением, которое я называю «Катин рентген» — она видит меня насквозь, и врать ей бесполезно.

— Ты думаешь на брата, — говорит она. Не спрашивает, утверждает.

— Откуда...

— Роза, ты мне рассказала про ту открытку на 8 марта. И про голосовое сообщение. Я с тех пор жду, когда он объявится снова.

— Он не объявлялся. Три месяца ничего не было.

— А теперь объявился. С пионами.

Я отворачиваюсь, начинаю переставлять вазы на полке, хотя они и так стоят идеально.

— Я не знаю, от него это или нет.

— А если от него? Что ты будешь делать?

— Ничего.

— То есть?

— Ничего, Катя. Я ничего не буду делать. Я не отвечу. Я не буду гадать. Я не буду надеяться.

Катя молчит. Потом подходит, обнимает меня со спины, кладет подбородок мне на плечо.

— Роз, а может, ну его? Может, стоит дать шанс? Не Игорю, нет. Но тому, кто искал тебя год. Кто прислал мимозу на 8 марта. Кто теперь прислал пионы на день рождения. Это не похоже на человека, который хочет сделать больно.

— Все хотят сделать больно, — говорю я. — Просто не сразу.

Катя вздыхает, отстраняется.

— Ладно. Давай торт есть. И выпьем. Я тут тебе... кое-что принесла.

Она достает из шуршащего пакета бутылку просекко. Я смотрю на нее, и впервые за сегодня улыбаюсь.

— Ты гений.

— Я знаю. Ну что, именинница, открывай. Бокалы есть?

— В подсобке, на верхней полке.

Пока я иду за бокалами, Катя открывает коробку с тортом. Это «Наполеон» — мой любимый. Я даже не спрашиваю, откуда она знает. Катя знает все. Катя — мой личный детектив, психолог и ангел-хранитель в одном лице.

Мы садимся за прилавок, наливаем просекко, чокаемся.

— С днем рождения, — говорит Катя. — Пусть в твоей жизни будет меньше мудаков и больше хорошего кофе.

— Лучшее пожелание, которое я слышала.

Мы пьем. Просекко щиплет язык, пузырьки поднимаются к носу, и я чувствую, как напряжение начинает отпускать. Катя режет торт, кладет мне огромный кусок.

— Рассказывай, — говорит она. — Как тебе тридцать два?

— Как тридцать один, только на год хуже.

— Не ври. Тридцать два — это отличный возраст. Ты уже достаточно взрослая, чтобы не совершать старых ошибок, и достаточно молодая, чтобы совершать новые.

— Какие, например?

— Например, влюбиться в кого-нибудь, кто этого заслуживает.

Я откусываю торт и делаю вид, что не расслышала.

После второго бокала просекко я рассказываю Кате про сон, который приснился мне прошлой ночью. Мне снился наш старый дом — тот, в котором мы жили с Игорем. Я ходила по комнатам, и все было на своих местах: диван, который мы выбирали вместе, кухонный фартук, который я выкладывала плиткой два месяца, фотографии на стенах. Но меня в этом доме не было. Я ходила по нему как привидение, трогала вещи, но они не чувствовали моих рук. А потом я зашла в спальню, и там на кровати сидела та девушка — с накачанными губами, с длинными волосами, с идеальным маникюром. Она смотрела на меня и улыбалась. И я проснулась.

— Тебе нужно перестать думать о нем, — говорит Катя, когда я заканчиваю. — Он не стоит того, чтобы появляться в твоих снах.

— Я не думаю о нем. Он сам приходит.

— Потому что ты не закрыла гештальт.

— Что?

— Ну, ты не отомстила, не высказалась, не плюнула ему в лицо. Ты просто ушла. Тихая, красивая, гордая. А надо было послать его подальше, разбить машину, сжечь его дурацкие галстуки. Чтобы выплеснуть все наружу. А ты все носишь в себе.

— Я не ношу.

— Носишь. Ты боишься цветов, Роза. Флорист, который боится цветов. Это же диагноз.

Я молчу. Она права. Я боюсь не всех цветов. Я боюсь красных роз, потому что Игорь дарил их мне каждое восьмое марта и каждый день рождения. Я боюсь лилий — они стояли в нашей спальне в тот день, когда я узнала об измене. Я боюсь мимозы — с ней связан тот странный эпизод в марте, которого я до сих пор не понимаю.

— Это не диагноз, — говорю я. — Это просто... ассоциации.

— Ассоциации, которые мешают тебе жить. Ты посмотри на себя. Ты владелица цветочной мастерской, а в твоём доме нет ни одного цветка, кроме тех, что ты приносишь на работу. Ты не покупаешь цветы для себя. Ты не принимаешь цветы от других.

— Я приняла сегодня.

— И чуть не выбросила их, потому что испугалась.

Она права. Опять права.

Я допиваю просекко и смотрю на коробку с пионами. Они все так же стоят на прилавке, розовые, нежные, невозможные. И я понимаю, что не выброшу их. Я не смогу. Потому что они красивые. Потому что они пахнут. Потому что кто-то хотел сделать мне приятно.

Но я не смогу и поставить их в вазу. Потому что тогда они будут перед глазами, будут напоминать, будут заставлять думать. А думать о том, кто их прислал, я не готова.

— Поставлю в подсобку, — говорю я. — Пусть стоят там.

— Как хочешь, — Катя не спорит. Она знает, когда меня можно переубедить, а когда нет.

Мы едим торт, пьем просекко, болтаем о пустяках. Катя рассказывает про нового бариستا, который устроился в их кофейню, — «у него татуировка на всю шею и серьга в носу, но он делает лучший раф в городе». Я рассказываю про тети Зининых кошек, которые опять подрались в подъезде. Мы смеемся, и на какое-то время я забываю про пионы, про открытку, про то, что мне тридцать два и я одна.

Потом Катя уходит — ей нужно на смену. Я остаюсь одна в мастерской, допиваю остывший кофе и смотрю в окно. Ветер стих, тучи разошлись, и солнце пробивается сквозь облака, освещая море желтоватым, каким-то нереальным светом. На улице начинается оттепель — с крыш капает, по асфальту бегут ручьи, воздух становится влажным и тяжелым.

Пахнет весной. Я ненавижу этот запах. Потому что весной все оживает, все начинает цвести, все влюбляются, все надеются. А я не хочу. Я замерзла, и мне нравится быть замерзшей. В холоде не больно. В холоде ты просто не чувствуешь.

Я убираю со стола, мою чашки, вытираю прилавок. Потом захожу в подсобку и ставлю коробку с пионами на дальнюю полку, за ящики с упаковкой. Чтобы не видеть. Чтобы не думать.

Возвращаюсь в зал, сажусь на стул и закрываю глаза. Голова кружится от просекко и недосыпа. Я чувствую, как пульсирует в висках, как тяжелеют веки. Я почти засыпаю, но в этот момент звонит телефон.

Я смотрю на экран. Неизвестный номер.

Сердце пропускает удар. Потом начинает биться чаще, сильнее, больнее.

Я не беру. Я смотрю, как телефон вибрирует на прилавке, и не беру. Через несколько секунд звонок смолкает. Потом приходит уведомление о голосовом сообщении.

Я смотрю на него. Мой палец замирает над кнопкой «прослушать».

Не буду. Я не буду это слушать. Я не хочу слышать его голос. Я не хочу знать, что он скажет. Я не хочу надеяться.

Я выключаю телефон, убираю его в ящик прилавка и сижу в тишине.

В мастерской темнеет. За окном гаснет день. Февральский день, короткий, серый, похожий на все остальные. На улице зажигаются фонари, и их свет падает на пустые витрины, на горшки с цветами, на стул, на котором я сижу, сжавшись в комок.

Мне тридцать два. Я одна. У меня есть мастерская, есть Катя, есть тетя Зина с ее пирожками. Этого достаточно.

Я повторяю это снова и снова, пока не начинаю верить.

Флешбэк приходит неожиданно. Я не зову его, не открываю дверь, но он все равно входит — как вор, как тот самый запах чужих духов, который я учуяла на воротнике Игоря в тот вечер.

Это был четверг. Обычный четверг, ничего особенного. Я вернулась с работы раньше обычного — у меня разболелась голова, и начальник отпустил меня домой. Я зашла в квартиру, сняла пальто, поставила чайник. Игорь должен был прийти поздно — у него были переговоры, он говорил, что задержится.

Я прошла в спальню, чтобы переодеться, и увидела на кровати его рубашку. Белую, свежую, которую он надел утром. Он, видимо, передумал и переоделся во что-то другое. Я взяла рубашку, чтобы повесить в шкаф, и поднесла к лицу — чисто, пахнет кондиционером и чем-то еще. Я поднесла ближе.

Запах. Чужой. Сладкий, приторный, с нотками ванили и жасмина. Женские духи. Не мои.

Я стояла посреди спальни с его рубашкой в руках и не могла дышать. Воздух кончился. Весь воздух в квартире кончился, остался только этот запах — сладкий, приторный, липкий.

Я помню, как опустилась на кровать. Как сидела, глядя в стену, целый час. Как потом, когда Игорь вернулся, спросила спокойным, ровным голосом: «Кто она?». Как он сначала делал вид, что не понимает, потом покраснел, потом начал оправдываться, потом — злиться. «Ты что, следишь за мной? Ты проверяешь мои вещи? Это паранойя, Роза, тебе нужно к врачу».

Я не плакала. Я смотрела на него и не верила, что этот человек — тот самый, с которым я венчалась в церкви, тот самый, который говорил «я люблю тебя» каждое утро, тот самый, с которым я строила планы на будущее. Передо мной стоял чужой человек. Я его не знала.

Он ушел в ту ночь. Сказал, что я неадекватна, что мне нужно успокоиться, что он переночует у мамы. Я не спала всю ночь. Сидела на кухне, смотрела на город из окна и ждала рассвета.

Потом были недели лжи. Он говорил, что это случайность, что она ничего не значит, что он любит только меня. Я хотела верить. Я так хотела верить. Я глотала его оправдания, как таблетки, которые должны обезболить, но боль не проходила.

А потом я нашла его телефон. Он забыл его в ванной, когда пошел в душ. Я не хотела смотреть. Я не искала. Но экран загорелся, и я увидела сообщение: «Люблю тебя, мой сладкий. Когда увидимся?».

Я открыла переписку. И прочитала все. Полгода переписки. Полгода его жизни, о которой я не знала. Полгода, когда он целовал меня на ночь и писал ей: «Скучаю, малышка». Полгода, когда он дарил мне цветы и планировал с ней отпуск на Мальдивах.

Я не помню, как я вышла из квартиры. Я не помню, как села в такси. Я не помню, как купила билет на поезд. Я помню только, как сидела на вокзале с чемоданом и смотрела на табло отправления. И думала: «Куда?».

Я выбрала этот город потому, что здесь есть море. И потому, что здесь меня никто не найдет.

Я открываю глаза. В мастерской темно. За окном уже ночь, фонари горят, на небе ни звезды. Я сижу на стуле, сжавшись, и мои щеки мокрые.

Я плакала. Опять.

Я вытираю лицо рукавом, встаю. Ноги затекли, спина болит. Я закрываю мастерскую, проверяю замки, выхожу на улицу. Воздух холодный, влажный, пахнет талым снегом и морем. Я иду домой, считая шаги. Один, два, три, четыре. Не думать. Пять, шесть, семь, восемь. Не вспоминать.

Дома я принимаю душ, долго стою под горячей водой, смотрю на белую плитку. Потом иду на кухню, наливаю себе чай, сажусь на подоконник. Внизу, на улице, ни души. Только фонари и мокрый асфальт.

Мой телефон лежит на столе. Я не включала его с тех пор, как выключила в мастерской. Я смотрю на него и знаю, что там — голосовое сообщение. От него. Я знаю, потому что больше никому.

Я не слушаю. Я не буду слушать.

Я сижу на подоконнике, пью чай и смотрю на ночной город. Город, который стал моим убежищем. Город, в котором я научилась быть одна.

Мне тридцать два. Сегодня мой день рождения. Мне прислали пионы, и я поставила их в подставку, потому что боюсь.

Я боюсь цветов. Я боюсь надежды. Я боюсь открыть дверь тому, кто стоит за ней.

Но я знаю, что он там. Я знаю, что он ждет. Я знаю, что рано или поздно мне придется либо открыть, либо навсегда закрыться.

Я не знаю, что выберу.

За окном начинается новый день. Первый день весны по календарю. Но за окном все еще февраль — серый, холодный, бесконечный.

Я закрываю глаза и засыпаю на подоконнике, подложив под голову сложенные руки. И мне снится море. Серое, тяжелое, с белыми барашками на волнах. И я стою на берегу, и ветер дует в лицо, и я не чувствую холода.

Потому что я уже замерзла. Так давно, что перестала чувствовать.

Глава 2

Я всегда был тихим.

В детстве это называли «стеснительным», в юности — «замкнутым», во взрослой жизни — «странным». Я привык. Тишина — это не отсутствие звуков, это способ существования. Кто-то живет громко, занимая собой все пространство, как мой старший брат Игорь. Кто-то — как я — выбирает быть на периферии, наблюдать, слушать, запоминать.

Я запоминаю все. Не потому, что у меня фотографическая память, а потому, что я смотрю внимательнее, чем говорю. Моя профессия архитектора научила меня этому: чтобы построить здание, нужно увидеть его не таким, какое оно есть, а таким, каким оно может стать. Нужно разглядеть детали, которые другие пропускают. Трещину в фундаменте, которая через год разрушит стену. Угол падения света, который превратит обычную комнату в пространство, где хочется жить.

Я научился так же смотреть на людей. И это делает меня одиночкой. Потому что, когда ты видишь трещины раньше, чем они появляются, ты либо становишься циником, либо перестаешь смотреть.

Я не стал циником. Я просто перестал смотреть на тех, кто не хотел, чтобы его видели.

А потом пришла она.

Это был воскресный ужин. В доме моих родителей всегда были воскресные ужины — традиция, которую мать блюла с фанатизмом, достойным лучшего применения. Каждое воскресенье, ровно в семь, мы собирались за большим дубовым столом, который достался ей от бабушки. Скатерть, фарфор, серебро. Игорь вечно опаздывал, отец ворчал, мать суежилась на кухне, а я сидел в своем обычном кресле у окна и ждал, когда все это закончится.

Я любил свою семью. Но я не любил воскресные ужины. Слишком много шума, слишком много слов, слишком много того, что называется «семейное тепло» и что всегда проходило мимо меня, как ветер, который дует в другую сторону.

В то воскресенье Игорь должен был приехать не один. Я знал это от матери, которая сообщила мне новость за три дня, с таким видом, будто речь шла о втором пришествии.

— Леша, у Игоря девушка. Серьезная. Он хочет нас познакомить. Ты будешь милым, правда?

— Я всегда милый, мама.

— Ну да. Только не молчи весь вечер. Поговори с ней о чем-нибудь.

— О чем?

— Не знаю. О цветах. Девушки любят цветы.

Я не стал спорить. Я вообще редко спорю — это требует слишком много энергии, а я привык экономить силы для того, что действительно важно.

Я приехал к шести, помог матери накрыть на стол, выслушал отцовские жалобы на политику и на то, что Игорь вечно опаздывает. В семь часов Игорь не приехал. В половине восьмого мать начала нервничать и названивать ему. В четверть девятого, когда я уже начал надеяться, что ужин отменят и я поеду домой, в прихожей раздался шум.

— Мы здесь! Извините за опоздание, пробки!

Голос Игоря. Громкий, уверенный, заполняющий собой все пространство, как всегда.

Я не поднялся из кресла. Я сидел у окна, и свет от уличного фонаря падал на страницы книги, которую я держал в руках, но не читал. Я ждал. Не Игоря — я привык к его появлениям. Я ждал того, что было за ним.

Она вошла в гостиную, и я поднял глаза.

Я не знаю, как это объяснить. Я не верю в любовь с первого взгляда — это слишком громко, слишком пафосно, слишком по-игровски. Я верю в узнавание. В тот момент, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что знал его всегда. Что он жил в тебе до того, как ты его встретил. Что мир только притворялся целым, а на самом деле в нем была дыра в форме этого человека, и теперь, когда он вошел, дыра закрылась.

Я смотрел на нее и чувствовал, как что-то внутри меня переворачивается. Не с грохотом, не с треском — тихо, как лист бумаги, который складывают пополам. Мир разделился на «до» и «после». И в «после» было ее лицо.

Она была некрасивой. Я понимаю, что это звучит странно, но она была именно некрасивой — в том смысле, в каком некрасивы вещи, которые не нуждаются в красоте. У нее были русые волосы, собранные в небрежный пучок, серые глаза, которые смотрели внимательно и немного испуганно, тонкие губы, которые она покусывала, когда волновалась. Она была в простом платье цвета мяты — я запомнил это платье на всю жизнь, хотя больше никогда его не видел. На ногах — балетки, потому что она была чуть выше Игоря, а он не любил, когда женщина выше него.

Она стояла в дверях, держа в руках букет полевых цветов — не роз, не лилий, а что-то простое, ромашки, васильки, колокольчики. И смотрела на мою мать с таким выражением, будто боялась, что ее сейчас прогонят.

— Здравствуйте, — сказала она тихо. — Я Роза.

Мать, которая умела быть холодной с теми, кого не одобряла, в этот раз почему-то растаяла. Она подошла, обняла ее, поцеловала в щеку и сказала: «Какая прелесть. Проходи, родная, садись».

Я смотрел на это и чувствовал, как во мне поднимается что-то, чего я раньше не чувствовал. Не ревность — нет, я не ревновал ее к брату, я еще не знал, что имею на это право. Не зависть — Игорь всегда получал все лучшее, и я привык. Это было что-то другое. Что-то похожее на боль от того, что ты нашел то, что искал всю жизнь, но нашел слишком поздно.

Она села за стол напротив меня. Игорь — рядом с ней, положил руку на спинку ее стула, собственнически, как всегда. Она улыбалась матери, отвечала на вопросы, смеялась над отцовскими шутками. И я смотрел на нее и думал: «Она не для него. Она не для него. Она для меня».

Но я ничего не сказал. Я — тихий. Я — тот, кто сидит в углу и смотрит. Я — тот, кто не имеет права вмешиваться, потому что его всегда считали странным.

За ужином мать спросила меня:

— Леша, а ты что молчишь? Расскажи Розе о своей работе. Она говорит, любит цветы. Может, вы вместе сад спроектируете?

Я поднял глаза и встретился с ней взглядом. Впервые за этот вечер. Ее серые глаза смотрели на меня с интересом — не с тем вежливым интересом, с которым смотрят на младшего брата жениха, а с настоящим. Как будто она действительно хотела услышать, что я скажу.

— Я архитектор, — сказал я. — Проектирую дома. Не сады.

— А хотели бы? — спросила она.

— Не думал об этом.

— А зря, — она улыбнулась. — Мне кажется, у вас бы получилось. Вы выглядите как человек, который умеет создавать красоту.

Я покраснел. Я, взрослый мужчина, архитектор, которому тогда было двадцать девять, покраснел как школьник. Игорь хлопнул меня по плечу и засмеялся:

— Леха у нас художник, да. Только рисовать не умеет.

Она не засмеялась. Она посмотрела на Игоря, потом снова на меня, и я увидел в ее глазах что-то, что потом, спустя годы, назову сочувствием. Она поняла. Она поняла, что я не такой, как они. Что я стою в стороне не потому, что мне так нравится, а потому, что меня туда поставили.

С того вечера я стал приходить на воскресные ужины чаще. Раньше я пропускал их, когда мог, находил отговорки, ссылаясь на работу. Но после того как Роза вошла в нашу семью, я не пропустил ни одного.

Я приходил, садился в свое кресло у окна и смотрел. Смотрел, как она входит в дом, как снимает пальто, как улыбается матери, как помогает накрывать на стол. Смотрел, как она говорит, как смеется, как поправляет волосы, падающие на лицо. Смотрел, как она кладет руку на плечо Игорю, и чувствовал, как эта рука сжимает мое сердце.

Я знал, что это неправильно. Она была женой моего брата. Она была частью семьи. Мои чувства были запретными, постыдными, невозможными. Я пытался заглушить их работой — проектировал дома, которые никто не заказывал, чертил планы до трех ночи, брал проекты, от которых другие отказывались. Я пытался убедить себя, что это просто наваждение, что оно пройдет, что я ошибаюсь.

Но оно не проходило.

Оно росло. Каждое воскресенье, каждый семейный праздник, каждый раз, когда я видел ее, чувство становилось сильнее. Я запоминал все — как она пьет чай (с лимоном, без сахара), какую музыку любит (старые французские шансоны, которые я начал слушать только потому, что она их любила), как она пахнет (не духами — чем-то своим, похожим на мокрую землю и свежесрезанные цветы).

Я стал экспертом по Розе. Я знал о ней больше, чем Игорь. Я знал, что она боится грозы, но не показывает этого. Я знал, что она плачет над фильмами, в которых умирают собаки. Я знал, что она любит мимозу — не розы, которые дарил ей Игорь, а простую мимозу, ту самую, что продают бабушки у метро.

Я знал, что она несчастна.

Это было самое страшное знание. Я видел, как она увядает. Как в ее глазах гаснет свет, который я увидел в тот первый вечер. Как она улыбается, но улыбка не доходит до глаз. Как она становится тише, меньше, бледнее. Как Игорь относится к ней — не как к жене, а как к вещи, которая всегда будет на месте, куда бы он ни ушел.

Я видел трещины. Я всегда их видел. Но я не имел права вмешиваться.

Однажды, это было на дне рождения матери, я вышел на балкон подышать. Вечеринка была в разгаре, гости шумели, музыка играла, все смеялись. Я стоял у перил, смотрел на звезды и думал о том, что пора перестать приходить на эти ужины. Что это мазохизм — сидеть напротив женщины, которую любишь, и смотреть, как ее любит другой.

Дверь на балкон открылась. Я обернулся.

Это была она.

— О, извините, — сказала она. — Я не знала, что здесь кто-то есть.

Она стояла в свете, падающем из окна, и я видел, как она устала. Под глазами круги, плечи опущены, в руке — бокал с вином, который она, кажется, не пила, а просто держала, чтобы было чем занять руки.

— Ничего, — сказал я. — Я уже ухожу.

— Нет, — она остановила меня. — Останьтесь. Я хочу побыть одна. Но не одна, если вы понимаете.

Я понимал. Я всегда понимал.

Я остался. Мы стояли на балконе, смотрели на звезды и молчали. Это было самое долгое молчание в моей жизни — и самое прекрасное. Я чувствовал ее рядом, слышал ее дыхание, и мне казалось, что если я протяну руку, то смогу коснуться ее плеча, и она не отшатнется.

— Вы знаете, — сказала она вдруг, — мне иногда кажется, что я вышла замуж не за того человека.

Мое сердце остановилось. Я повернулся к ней, но она не смотрела на меня — она смотрела на звезды.

— Не за того? — переспросил я.

— За того, кто мне нужен, а не за того, кто мне подходит. Вы понимаете разницу?

— Понимаю.

— Игорь — хороший, — сказала она быстро, будто оправдываясь. — Он заботливый, внимательный, он любит меня. Но иногда мне кажется, что он любит меня как... как красивую вещь. Которая должна стоять на видном месте и радовать глаз. А я не хочу быть вещью.

Она замолчала. Я не знал, что сказать. Я хотел сказать ей все — что я видел, как она увядает, что я знаю, как ей больно, что я люблю ее не как вещь, а как... как воздух. Как свет. Как то, без чего нельзя жить.

Но я не сказал. Потому что она была женой моего брата. Потому что это было бы предательством. Потому что я — тихий. Я — тот, кто смотрит, но не вмешивается.

— Может быть, вам стоит поговорить с ним, — сказал я. — Сказать, что вы чувствуете.

Она усмехнулась — горько, устало.

— Говорила. Он не слышит. Он вообще не умеет слышать то, что не хочет слышать.

Она допила вино, поставила бокал на перила.

— Извините, что нагрозила вас. Идите к гостям. Я сейчас приду.

Я хотел остаться. Я хотел сказать: «Я слышу. Я слышу каждое твое слово. Я слышал тебя с того самого дня, как ты вошла в этот дом». Но я кивнул и ушел.

Это была моя самая большая ошибка. Я ушел, когда надо было остаться.

Потом случилось то, что случилось.

Я узнал об измене Игоря не от него — он, разумеется, не сказал мне. Я узнал от матери, которая плакала по телефону и говорила: «Она ушла, Леша. Она ушла и не сказала куда. Игорь — дурак, он все испортил, он... у него была другая».

Я сидел в своей мастерской, сжимая телефон, и чувствовал, как мир рушится. Не мой мир — я привык, что мой мир стоит на песке. Ее мир рушился. И я ничего не мог сделать.

Я поехал к родителям. Игоря не было — он, по словам матери, «уехал разобраться». Я знал, что это значит: он поехал к той девушке. Он бросил Розу и поехал к той, с которой изменял. Как будто она была не настоящей, как будто она была просто эпизодом, который можно вычеркнуть.

Мать плакала. Она любила Розу как дочь — может быть, даже больше, чем меня. Роза была той дочерью, которой у матери никогда не было. Они вместе готовили, вместе смотрели сериалы, вместе сажали цветы в саду. Когда Роза ушла, мать потеряла не невестку — она потеряла подругу.

— Ты должен найти ее, Леша, — сказала мать сквозь слезы. — Ты же умеешь искать. Ты всегда находишь то, что потеряно.

Я не умею искать. Я умею проектировать. Я умею видеть трещины. Но я не умею находить людей, которые не хотят, чтобы их нашли.

Я попытался. Я обзвонил всех, кого знал. Я проверил ее соцсети — она удалила их все. Я поговорил с ее подругами — никто не знал, куда она уехала. Я даже нанял частного детектива — он нашел только то, что она уехала поездом, но куда — не смог установить.

Она исчезла. Как будто ее и не было.

Я искал ее год. Каждый день. Я просыпался с мыслью о ней и засыпал с мыслью о ней. Я прочесывал интернет, искал ее имя в социальных сетях, проверял базы данных, на которые не имел права. Я стал одержимым. Я знал, что это ненормально — искать женщину, которая была женой твоего брата, которая никогда не давала тебе повода надеяться. Но я не мог остановиться.

Игорь тем временем жил своей жизнью. Он не искал Розу. Он вообще не говорил о ней, как будто ее никогда не существовало. Он встречался с той девушкой, потом с другой, потом

с третьей. Он приходил на воскресные ужины, смеялся, шутил, строил планы. Мать смотрела на него с болью, но молчала.

Я ненавидел его в тот год. Впервые в жизни я ненавидел своего брата. Не за то, что он был лучше, ярче, успешнее — я привык к этому. Я ненавидел его за то, что он сломал ее. За то, что он заставил ее исчезнуть. За то, что он даже не попытался ее вернуть.

Однажды, это было через полгода после ее ухода, я не выдержал. Мы с Игорем остались вдвоем после ужина — родители ушли в гостиную смотреть телевизор, а мы сидели на кухне и пили чай. Или я пил, а он просто сидел и смотрел в телефон.

— Ты не будешь ее искать? — спросил я.

Он поднял глаза. В них не было боли, не было вины — только удивление, что кто-то вообще об этом спрашивает.

— Кого?

— Розу.

Он поморщился, как от зубной боли.

— Зачем? Она ушла сама. Я не держал.

— Ты изменил ей. Полгода.

— И что? Она могла простить. Я бы простил на ее месте.

— Нет, — сказал я. — Не простил бы.

Он посмотрел на меня с любопытством, как смотрят на насекомое, которое вдруг заговорило.

— Ты чего так переживаешь? Она тебе кто? Сестра?

Я промолчал. Я не мог сказать правду. Сказать «я люблю ее» означало бы открыть то, что я прятал годами. Это было бы предательством не только Игоря, но и Розы. Она не просила моей любви. Она не знала о ней. И если бы узнала, наверное, была бы в ужасе.

— Она хороший человек, — сказал я наконец. — Она заслуживала лучшего.

— Ну, — Игорь пожал плечами. — Может, найдет. Я не держу.

Он встал, взял куртку, похлопал меня по плечу.

— Брось, Леха. Женщин много. Эта не первая, не последняя. Забуди.

Он ушел. Я остался сидеть на кухне, сжимая кружку с остывшим чаем, и думал о том, что в нашей семье что-то сломано. Что-то, что я не могу починить, как не могу починить трещину в фундаменте, если не знаю, где она.

Мать вышла из гостиной, села напротив меня.

— Леша, — сказала она тихо. — Я знаю.

— Что знаешь?

— Про тебя. И про Розу.

Я замер. Она смотрела на меня с такой же болью, с какой смотрела на Игоря, но в этой боли было что-то другое. Сочувствие.

— Я видела, как ты на нее смотришь, — сказала мать. — С первого дня. Думала, пройдет. Не прошло?

Я покачал головой.

— Леша, — она взяла меня за руку. — Ты хороший. Ты всегда был хорошим. Но она... она жена твоего брата. Бывшая, но все же. Тебе нужно отпустить.

— Я пытаюсь, мама.

— Пытайся сильнее. Она не для тебя. Она вообще не для нашей семьи. Мы... мы сделали ей больно. Я сделала. Я не уберегла. Игорь сломал ее. А ты... ты будешь напоминанием. Даже если вы будете вместе, она всегда будет смотреть на тебя и видеть нашу семью. Ту боль.

Я знал, что она права. Я знал это все годы. Но знание не убивает чувства. Оно их только усиливает, потому что ты понимаешь: то, что ты чувствуешь, не только запретно — оно еще и безнадежно.

Я продолжал искать.

Я нашел ее через год. Случайно — хотя я не верю в случайности. Я проектировал дом для клиента в том городе, куда она уехала. Небольшой приморский городок, о котором я раньше никогда не слышал. Я приехал на встречу с заказчиком, шел по набережной и вдруг увидел вывеску: «Роза и ветка». Флористическая мастерская.

Я зашел внутрь, не зная, что увижу. Может быть, это просто совпадение, может быть, другая Роза. Но сердце колотилось так, будто я бежал марафон.

В мастерской никого не было. Только цветы — горшки, вазы, композиции. Пахло зеленым и влажной землей. Я стоял посреди этого царства цветов и чувствовал ее. Она была здесь. Я знал.

Я подошел к прилавку. На нем лежал блокнот — открытый, на первой странице. И там, в верхнем углу, был набросок. Цветок. Мимоза. И подпись — одна буква «Р».

Ее почерк. Я узнал его. Аккуратный, чуть наклонный, с круглыми буквами. Я смотрел на эту «Р» и не мог дышать.

Я не остался. Я вышел из мастерской, сел на скамейку у моря и просидел там до темноты. Я смотрел на серую воду и думал о том, что делать. Найти ее. Поговорить. Сказать все. Или уйти и никогда не возвращаться.

Мать была права: я буду напоминанием о той жизни, которую она хотела забыть. Если я появлюсь, она увидит не меня — она увидит Игоря, его семью, ту боль. Я не имею права причинять ей боль. Даже своим присутствием.

Я уехал в тот же вечер. Не заходя в мастерскую. Не оставив записки. Я решил, что так будет правильно.

Но «правильно» длилось две недели. Я не мог спать, не мог работать, не мог думать ни о чем, кроме нее. Я знал, где она. Я знал, что она живет в этом городе, что у нее есть мастерская, что она, наверное, строит новую жизнь. И я не имел права быть частью этой жизни. Но я не мог оставаться в стороне.

Я вернулся. На этот раз я не пошел в мастерскую. Я нашел ее дом — съемную квартиру в старом фонде, с окнами на море. Я стоял напротив подъезда и смотрел на свет в ее окнах. Она зажигала свет в семь вечера, гасила в одиннадцать. Иногда она подходила к окну, и я видел ее силуэт — худенький, с опущенными плечами. И каждый раз, когда она подходила к окну, я прятался в тени, как вор.

Я был вором. Я крал моменты ее жизни, на которые не имел права.

Я вернулся в свой город, но мыслями оставался там. Я стал приезжать раз в месяц, потом раз в две недели, потом каждую неделю. Я сидел на скамейке у моря, смотрел на окна ее мастерской, ждал, когда она выйдет. Иногда я видел ее — она шла по набережной, в куртке, с чашкой кофе в руке, и смотрела на море. Она изменилась. Стала жестче, собраннее. В ней не было той уязвимости, которую я видел раньше. Она стала крепче. Как дерево, которое пережило бурю и теперь стоит, расправив ветви.

Я гордился ею. И ненавидел себя за то, что не могу подойти, не могу сказать: «Я здесь. Я видел, как ты страдала. Я хочу, чтобы ты знала: ты не одна».

Я придумал план. Он был глупым, романтичным, совершенно не в моем стиле. Я хотел, чтобы она знала, что кто-то ее ищет. Не как Игорь — не для того, чтобы вернуть, не для того, чтобы сделать больно. Просто чтобы она знала: есть человек, который помнит, который ждет, который не забыл.

Я отправил ей мимозу на восьмое марта. С одним словом: «Нашелся». Я хотел написать больше — «Я тебя нашел», «Ты нашлась», «Я здесь». Но я знал, что если напишу больше, она поймет. А я не был готов, чтобы она поняла.

Я хотел, чтобы она знала: кто-то ее ищет. Не для того, чтобы вернуть в ту жизнь, от которой она сбежала. А для того, чтобы сказать: ты не одна. Ты никогда не была одна.

Я оставил голосовое сообщение. Сказал то, что хотел сказать годами. «Прости, что так рано. Я не хотел тебя пугать. Просто... я искал тебя целый год. И сегодня... сегодня я хотел, чтобы ты знала: ты не одна. С праздником».

Она ответила одним словом: «Спасибо».

Я перечитывал это слово сто раз. «Спасибо». Не «кто это?», не «зачем?», не «отойдите». Просто «спасибо». Я не знал, что это значит. Может быть, она не поняла. Может быть, поняла, но не хочет отвечать. Может быть, ей все равно.

Я не писал больше. Я не хотел давить. Я не хотел, чтобы она чувствовала себя пойманной. Я решил ждать. Ждать, пока она сама захочет узнать, кто искал ее год.

Я ждал три месяца. Каждый день я проверял телефон, ждал сообщения, звонка. Ничего. Она не хотела знать. Она закрылась. Она построила стену, и я стоял по ту сторону.

На ее день рождения я отправил пионы. «Сара Бернар» — розовые, нежные, невозможные в феврале. Я хотел, чтобы она знала: я помню. Я помню, когда она родилась, хотя она никогда не говорила мне эту дату — я узнал от матери, которая каждое 28 февраля покупала ей подарок. Я помню, какие цветы она любит. Я помню все.

Я написал: «Ты заслуживаешь красоту каждый день, а не только сегодня».

Я хотел добавить: «Я жду. Я всегда ждал. Я буду ждать, сколько понадобится». Но не добавил. Потому что не имел права.

Я оставил голосовое сообщение. Не звонил — не хотел, чтобы она видела пропущенный вызов и нервничала. Просто оставил сообщение. Сказал: «С днем рождения, Роза. Я надеюсь, ты счастлива. Или хотя бы спокойна. Ты этого заслуживаешь».

Я не знаю, слушала ли она. Я не знаю, поняла ли, от кого пионы. Я не знаю, думает ли она обо мне вообще.

Но я знаю одно: я не перестану ее искать. Не потому, что я одержимый — хотя, наверное, это так. А потому, что когда она вошла в гостиную в тот воскресный вечер, в платье цвета мяты, с букетом полевых цветов, мир разделился для меня на «до» и «после». И в «после» не было ничего, кроме нее.

Я не имею права. Я знаю. Я — брат человека, который разбил ее сердце. Я — часть семьи, которая причинила ей боль. Я — напоминание о том, от чего она бежала.

Но я также тот, кто видел ее. По-настоящему. Не как жену брата, не как невестку, не как красивую вещь на полке. Я видел ее — живую, настоящую, с ее страхами, с ее болью, с ее негромким смехом, с ее привычкой покусывать губы, когда она волнуется. Я видел ее, и я полюбил ее. Не за что-то. Просто. Как дышат. Как сердце бьется. Без выбора.

Я не знаю, чем это закончится. Может быть, она никогда не захочет меня видеть. Может быть, если узнает, кто я, она захлопнет дверь и никогда не откроет. Может быть, мать права, и я для нее — только боль.

Но я не могу перестать надеяться. Не могу перестать ждать. Не могу перестать верить, что однажды она поймет: я не Игорь. Я не тот, кто сломал ее. Я тот, кто собирал ее по кусочкам все эти годы. Кто знает ее наизусть. Кто готов ждать столько, сколько понадобится.

Я сижу в своей мастерской — настоящей архитектурной мастерской, где пахнет бумагой и кофе, где на стенах развешаны чертежи домов, которые я построил для других людей. Но единственный дом, который я хочу построить, — это дом для нее. Тот, где она будет чувствовать себя в безопасности. Тот, где она сможет быть собой. Тот, где она будет смеяться по-настоящему, а не той усталой улыбкой, которую я видел в последние годы ее брака.

Я рисую этот дом каждый день. В голове, на бумаге, в черновиках проектов, которые никогда не будут реализованы. Я знаю каждую деталь: окна на юг, чтобы солнце освещало комнаты. Большая кухня, потому что она любит готовить, хотя никогда не признается в этом.

Сад — обязательно сад, где она сможет выращивать цветы, те, которые любит, а не те, которые приносят деньги. И место для мастерской — светлое, просторное, с высокими потолками, чтобы она могла работать, не поднимая головы.

Я рисую этот дом и надеюсь. Это глупо, это по-детски, это совершенно не в моем характере. Я — архитектор, я строю на твердой земле, на расчетах, на цифрах. Я не строю замки на песке. Но для нее я готов построить что угодно. Даже если этот замок никогда не станет реальным.

Сегодня я снова приехал в ее город. Я сижу на скамейке у моря, смотрю на окна ее мастерской. Свет горит. Она там. Я знаю, что сегодня у нее был день рождения. Знаю, что она получила мои цветы. Знаю, что она, наверное, испугалась. Или разозлилась. Или, может быть, — я позволяю себе эту слабость — улыбнулась.

Я не знаю. Я ничего не знаю о ней сейчас. Я знаю только то, что было. А что есть — не знаю.

Но я здесь. Я жду. Я не имею права, но я жду.

Потому что когда она вошла в гостиную в тот воскресный вечер, в платье цвета мяты, с букетом полевых цветов, мир разделился на «до» и «после». И в «после» не было ничего, кроме нее.

Я — тихий. Я — тот, кто смотрит, но не вмешивается.

Но однажды я перестану смотреть. Однажды я подойду.

Я не знаю, когда это будет. Я не знаю, как. Я не знаю, что скажу.

Но я знаю, что это будет.

Потому что я искал ее год. Потому что я ждал три года до этого. Потому что я люблю ее с того дня, как она уронила соус на мой белый пиджак на том первом ужине — нет, с того дня, как она вошла в дверь и посмотрела на меня серыми глазами, в которых было что-то, что я искал всю жизнь.

Я — тот, кто не ушел.

И я не уйду никогда.

Глава 3

Я не хотела выходить на прогулку.

Февральский ветер дул с моря, небо висело низкое и тяжелое, и единственным разумным решением было остаться дома, закутаться в плед, допить вчерашний чай и сделать вид, что мира не существует. Но Катя сказала, что если я еще один день просижу в четырех стенах, она выломает дверь и вытащит меня за волосы. Катя умеет убеждать. Вернее, она не умеет убеждать — она умеет ставить ультиматумы, от которых невозможно отказаться, потому что ты знаешь: она сделает, что сказала.

— Ты станешь пещерным человеком, — заявила она в трубку. — У тебя уже кожа белая, как у вампира. Выйди на свет, Роза. Свет — это хорошо. Свет — это витамин D, который тебе нужен, чтобы не впасть в зимнюю спячку.

— Я люблю зимнюю спячку.

— Нет, не любишь. Ты просто боишься выходить. Выходи. Я смену заканчиваю в три, встретимся на набережной, выпьем кофе.

— У меня есть кофе дома.

— Домашний кофе не считается. В три, Роза. Я приду и если тебя не будет, я... я расскажу тете Зине, что ты не поливаешь ее герань, когда она уезжает к дочери.

— Это шантаж.

— Это забота. До встречи.

Она отключилась. Я посмотрела на телефон, потом на окно, за которым ветер гонял по пустынной улице обрывки газет. В три, сказала Катя. Значит, в три я буду на набережной. Потому что Катя — единственный человек, ради которого я готова вылезать из своей норы.

Я оделась теплее: джинсы, толстый свитер, пуховик, который делал меня похожей на колобка, шапка, шарф, перчатки. В зеркале в прихожей отразилось существо без возраста и формы — просто комок одежды с глазами. Я усмехнулась. Раньше я любила наряжаться. Раньше я тратила часы перед зеркалом, выбирая, что надеть, чтобы понравиться Игорю. Теперь я трачу минуты, выбирая, что надеть, чтобы не замерзнуть. Это называется взросление. Или деградация. Я еще не решила.

Я вышла из дома в два часа, чтобы успеть пройти по набережной до встречи с Катей. Море сегодня было беспокойным — серые волны с белыми гребешками накатывались на берег с каким-то злым упорством, будто пытались доказать, что зима еще не сдала своих позиций. Чайки сидели на сваях, нахохлившись, и не кричали — только смотрели на воду с тем выражением вечной неудовлетворенности, которое свойственно всем приморским птицам.

Я шла медленно, наслаждаясь тем, что никто меня не торопит. В этом городе у меня не было расписания, не было встреч, не было обязательств. Только работа, которая начиналась, когда я хотела, и заканчивалась, когда я уставала. Только Катя, которая появлялась, когда ей было нужно, и исчезала, когда мне хотелось побыть одной. Только море, которое было всегда — равнодушное, огромное, успокаивающее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.